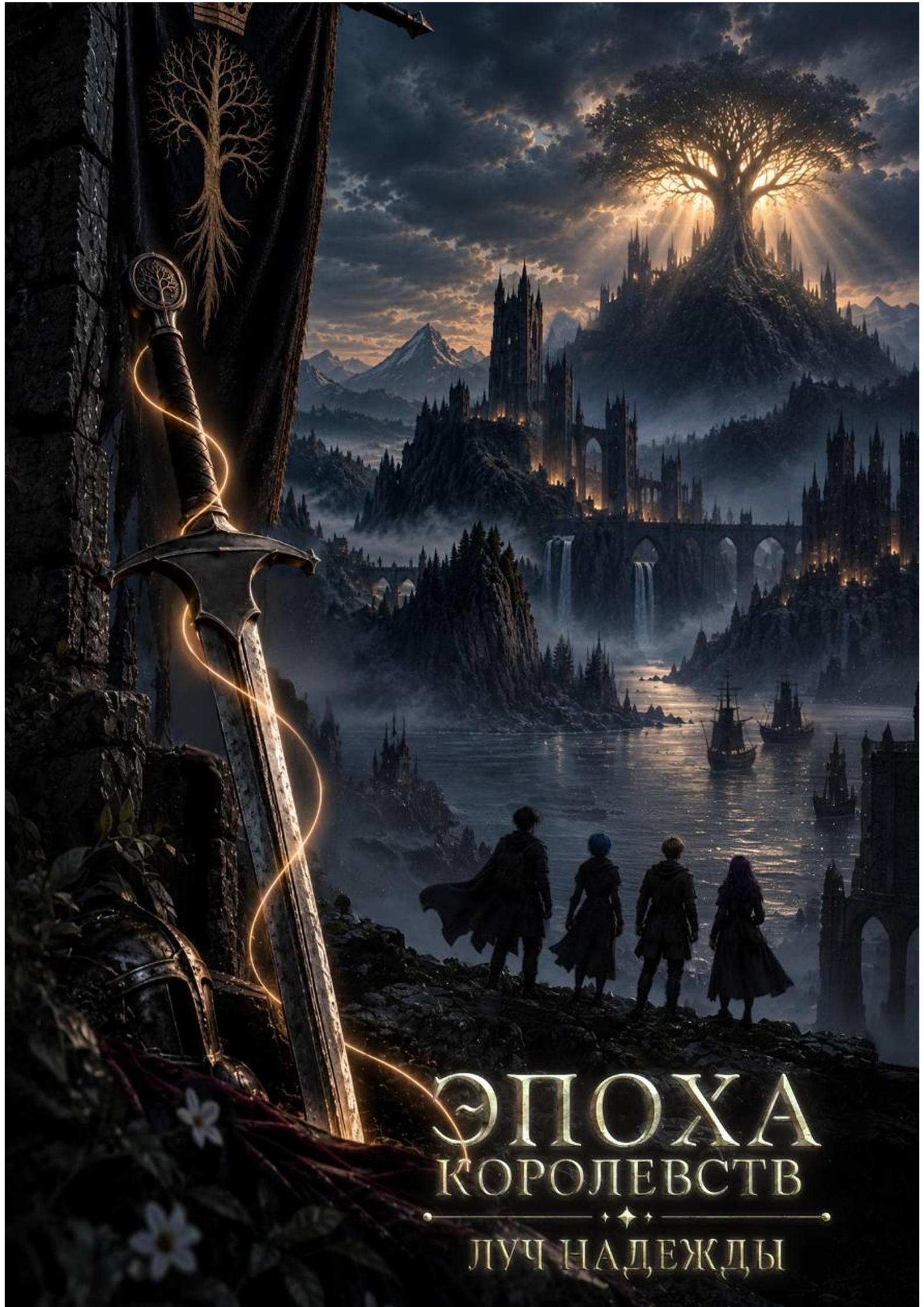




ЭПОХА КОРОЛЕВСТВ

ЛУЧ НАДЕЖДЫ

Крайзед

Эпоха Королевств: Луч Надежды

«Автор»

2026

Крайзед

Эпоха Королевств: Луч Надежды / Крайзед — «Автор», 2026

Семь лет назад Генри привезли в деревню — раненого, без имени и памяти. Теперь он живёт в лачуге со стариком и почти смирился с тем, что его прошлое навсегда осталось за гранью воспоминаний. Пока однажды ночью ему не снится голос: «Найди свою сестру». На следующий день приходит письмо от человека, которого Генри не помнит. В нём — лишь несколько слов и указание отправиться на юг. Не успев отправиться в путь, Генри встречает Нико — загадочную девушку, которая слишком много знает о нём и слишком мало рассказывает о себе. Тем временем королевства охватывает тревога. Армии сражаются на дорогах, города закрывают ворота, тысячи беженцев ищут спасения. Борьба за престол грозит перерасти в войну, способную изменить весь известный мир.

© Крайзед, 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Айсвед	8
Конец ознакомительного фрагмента.	9

Крайзед

Эпоха Королевств: Луч Надежды

Пролог

Первым вернулся холод.

Потом — тряска: доски телеги под спиной, и каждый камень на дороге отдавался в затылке короткой белой вспышкой. Кто-то держал его за плечо, чтобы он не сполз на ходу. Он не знал этого человека. Не знал дороги. Он попробовал вспомнить, куда и откуда его везут, — и не нашёл ни того, ни другого, будто пошарил рукой в тёмной комнате и не встретил стены.

За закрытыми веками стояло ружее сияние.

Стена огня. Что-то большое, горящее бежало через двор. Раздалось коровье мычание. Дым, и в дыму — чужие люди. Женщина совсем близко — её колени, её голос, её ладонь у него на затылке. Кто-то поменьше сбоку, вцепившийся в рукав обеими руками. И третье лицо, повернутое вполоборота, уже уходящее — уходящее назад, туда, откуда все бежали.

Потом дорога. На дороге было мокро и красно. Повозка. Высокий женский крик, обрывающийся на середине. А потом в руке у него оказалось что-то тяжёлое и чужое, чему там быть не полагалось, — и дальше не было ничего.

Он тянулся ко всем троим и не мог дотянуться. От боли в голове снова вспыхивало белым, огонь гас, и оставались только тряска и чужая рука на плече.

— Держи его, — сказал мужской голос сверху. — Совсем плох.

— Довезём. Тут недалеко.

Колесо упало в яму. Он услышал собственный стон как чужой — глухой, словно издалека.

Потом снова были холод и темнота, а в темноте — голоса, размытые, как через воду.

— ...жить-то будет?

— Кто ж его знает. Голову пробили, до кости. Крови потерял — половину, поди.

— Чей хоть?

— Ничей. Привезли и оставили. Мал совсем.

— Может, и не возиться. Всё одно к утру отойдёт.

Молчание. Потом, тяжело:

— Возись. Раз дышит — пусть дышит.

Один раз он всплыл из темноты почти к самой поверхности. Не открыл глаз — не смог, — но почувствовал: над ним склонились, чья-то ладонь легла на лоб, широкая, шершавая, пахнущая дублёной кожей и дымом. И тот же женский голос из огня сказал ему на ухо, тихо и внятно, будто и не было никакого огня: «Живи. Слышишь? Тебе ещё нельзя». Он хотел спросить, кто, — и темнота снова сомкнулась и держала его долго.

Он очнулся под чужим потолком.

Балки были тёмные от копоти, между ними висела паутина, и в паутине покачивалась от сквозняка одна соломинка — туда-сюда, туда-сюда. Он смотрел на неё, кажется, полдня, потому что ни на что другое сил не было. В избе пахло сушёной травой, дымом и козым молоком. Где-то капала вода — кап... кап... — и в такт капле в голове билась тупая боль, будто изнутри стучали кулаком.

Он попробовал поднять руку. Рука поднялась на ширину ладони от одеяла и упала. От одного этого движения к горлу подкатило.

— Лежи, — сказал голос сбоку. Старый, ровный, без удивления. — Лежи, не геройствуй. Три дня в горячке валялся, кричал.

Он повернул одни глаза. У очага, спиной к свету, сидел старик: жилистый, борода с сильной проседью. Старик не смотрел на него — сучил дратву, продевал в шило, чинил обрывок упряжи. Руки у него были тёмные и в трещинах, как сухое дерево на солнце.

«Где я?» — выговорил мальчик. Голос вышел не свой — сорванный, чужой.

— В Айсведе. Деревня наша так зовётся, — старик отложил шило. — Тебя привезли восьмой день как. Человек привёз, ночью, на телеге. Сказал — подобрал после разбоя на дороге и что своих у тебя не осталось никого. Ни платы не взял, ни на ночлег не остался.

— Какой человек?

— А кто ж его знает, — старик пожал плечом. — Назвался проезжим, а сам был битый не меньше твоего: рука в тряпье, израненный весь. В лачугу не пошёл, сел на телеге ждать, пока я тебя приму. Имени не сказал. К утру его уже не было.

Мальчик лежал и слушал себя изнутри. Там было ровно и пусто — так пусто, как в лачуге, из которой вынесли всё до последнего гвоздя и подмели пол. Ни дороги. Ни разбоя. Ни своего лица, ни имени, ни того, что было вчера или прошлым летом. Только рыжий огонь на самом дне и в огне те трое, которых он не смог удержать.

«Как меня зовут?» — спросил он.

Он спрашивал не старика.

— Не помнишь, стало быть, — произнёс он спокойно, словно просто заметил, что за окном пошёл дождь.

— Знахарка сказала: как очнётся — либо за неделю всё вспомнит, либо уже никогда. Восемь дней прошло.

Мальчик отвернулся к стене. Плакать было стыдно, а не плакать не выходило, и он лежал, стиснув зубы, и ждал, что старик что-нибудь скажет. Старик ничего не сказал. Он сучил дратву, и в избе было слышно только это — сухой шорох нити да капли где-то в углу.

Он попробовал вспомнить нарочно. Лежал, закрыв глаза, и толкался лбом в ту пустоту, как толкаются в заклинённую дверь: имя, лицо женщины из огня, дом, улицу — хоть что-нибудь. Дверь не поддавалась. За ней ничего не гремело и не звало — просто не было ничего, гладкая тьма. От усилия начинало стучать в висках, а один раз пошла носом кровь и закапала на одеяло.

— Брось, — сказал старик, не оборачиваясь. — Не ковырай. И эту рану тоже.

Знахарка приходила ещё дважды. Мяла ему голову сухими пальцами, светила в глаза лучиной, велела считать её пальцы и говорить, какой нынче день. День он назвать не мог — не знал, с чего вести счёт. Пальцы считал верно. «Голова цела, — сказала она старику во второй раз, уже в снях, думая, что мальчик спит. — Срастётся. А что не помнит — это не от удара, Обрен. Это он сам не хочет. Там у него, видать, такое, что лучше и не помнить. Не тереби его этим». Старик ничего не ответил. Дверь скрипнула, знахарка ушла и больше не приходила.

Он пролежал в избе старика ещё половину месяца.

Старика звали Обрен, и в Айсведе он был за старшего. Деревня выбрала его в волостной совет — при короле Калгруте вышел указ, чтобы в каждом совете сидел мужик от земли, — а от совета до всякой мороки один шаг. Обрен то разбирал спор из-за межи, то шёл считать павший по весне скот, то писал корявым почерком прошение в город за тех, кто грамоты не знал. Домой возвращался затемно, грел на очаге похлёбку на двоих, ел молча, ложился. О мальчике на лежанке не расспрашивал ни разу за весь месяц.

Своих у Обрена не было. Была жена — давно; был сын — ещё раньше; про обоих в Айсведе знали, что спрашивать не надо. Может, оттого он и не свёз мальчика в город, в дом призрения, как советовали, а оставил у себя: раз уж в избе всё равно одна лежанка пустует.

Первые дни за ним приходили — из любопытства и на всякий случай. Заглядывали бабы, мялись у порога, вытирали руки о передник: не сын ли он Одрика-бондаря, что ушёл по осени на заработки и сгинул; не племянник ли чей; не с того ли обоза, что весной грабили под Фло-

ром. Обрен всем отвечал одно, не отрываясь от работы: «Ничей пока. Придёт память — сам скажет, чей». Память не приходила. Приходить ей было неоткуда. К концу месяца в Айсведе о нём говорили уже без затей — «тот, кого Обрен подобрал», — и этого хватало на всех.

Имя всплыло само, недели через три, ночью. Он сел на лежанке в темноте, ещё не проснувшись толком, и сказал вслух:

— Генри.

И повторил — проверить, не чужое ли. Слово было своё, он это откуда-то знал. Больше за ним ничего не пришло: ни второго имени, ни дома, ни лиц. Одно слово из целой жизни.

— Ну и ладно, — отозвался из темноты Обрен, не поворачиваясь. — Генри так Генри. Спи.

Он научился садиться, потом вставать, потом выходить во двор и стоять, держась за плетень, пока не отпустит муть. Ещё через неделю Обрен молча положил перед ним топор.

Топор был не мальчишеский — обычный, тяжёлый, с потемневшим топорщиком. Генри взял его, и руки сделали всё сами, раньше головы: левая легла у обуха, правая пошла к концу топорщика, ноги встали как надо. Он поставил чурбак торцом, повернул, отыскал трещину по слою и ударил.

Топор вошёл и застрял. Силы не хватило.

Он выдернул его, ударил снова, потом ещё, и на четвёртом ударе чурбак развалился надвое. От этих четырёх ударов у него дрожали руки и темнело в глазах, и он сел прямо на землю, потому что стоять уже не мог.

И всё-таки он знал, как. Знал, с какой стороны заходить и куда ставить ногу; знал, что чурбак надо повернуть трещиной к себе, а бить не с размаху, а роняя вес. Откуда — не помнил. Осталось одно чувство: чужая рука поправляет ему хват, и кто-то говорит в затылок слова, от которых не сохранилось ни звука.

Он сидел на земле рядом с двумя белыми половинками и не мог отдышаться, и не по себе ему было не от топора и не от головы.

Подняв глаза, он увидел в дверях Обрена. Старик смотрел — на топор, на его ноги, на то, как он сидит, — и молчал. Потом ушёл в избу и в тот вечер долго не зажигал лучины.

В первую по-настоящему тёплую ночь Генри приснился голос.

Не слова — сперва просто голос. Женский, тихий, ровный, откуда-то издали, будто звали через большое поле, а ветер доносил только половину. Он не разобрал ни слова. Но проснулся так, словно его окликнули по имени: сел на лежанке, сердце колотилось. В избе было темно. Капала вода. Обрен спал, отвернувшись к стене, и его негнущаяся нога торчала из-под одеяла, как жердь. За окном стоял холодный лунный свет, тусклый, как на дне колодца.

Голос больше не пришёл. И сон не вернулся. До серого рассвета он сидел, обхватив колени, и думал о том, о чём думать не хотел: идти ему некуда. Нет дома, куда возвращаться. Нет людей, которые где-то ждут и не дождутся. Позади — рыжий огонь и трое, которых не удержать; впереди — ровное пустое поле, по которому носит чужой голос.

Утром Обрен поставил перед ним миску и сел напротив со своей. Ел молча, как всегда: хлебал, откладывал ложку, вытирал бороду ладонью. Генри смотрел на него и понимал, что остаётся. Не потому, что выбрал, — выбирать было не из чего. Просто здесь кормили, здесь не гнали и здесь никто не требовал, чтобы он хоть что-то вспомнил.

Он доел, отнёс миску и вышел во двор — доколоть то, что вчера не доколол. Так, ничем не приметно, началась его вторая жизнь: с пустого места, в чужой деревне, под низким закопчённым потолком, где в паутине качалась от сквозняка одна соломинка.

Так прошло семь лет.

Глава 1. Айсвед

Бурей повалило три старые ели поперёк дороги на Флор, и целую неделю мужики ходили на них смотреть — подолгу, засунув руки в рукава, как смотрят на утопленника.

Дорога была одна. По ней возили в город солёную рыбу и бортный мёд, по ней же раз в год приходил из Флора лекарь, если в Айсведе кто совсем плох. Теперь по ней не проходила и телега.

— Комель в два обхвата, — говорил Малах, обходя завал третий день подряд и всякий раз будто впервые. — Тут не топором. Тут плотницкой артелью надо и с лошадьёю.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.